

Аркадий Ровнер

Эпифания

Кто про будни, про пандемию, а я про чудеса.

И ведь случаются.

Во-первых, состоялся новый фестиваль. Кармелла Цепколенко провела «Два дня и две ночи новой музыки».

Во-вторых, на фестиваль приехал черт знает как, на автобусах, чуть ли не на арбе московский композитор Антон Ровнер.

В-третьих, и это главное, он предложил выступить во Всемирном клубе одесситов и... рассказать о своем отце.

Слава Богу, существует Гугл. И спустя десять минут я знал, что отец композитора – писатель Аркадий Ровнер, родившийся в... Одессе в 1940 году.

Нет, не всё мы знаем про Одессу.

И вот в клубе состоялась эта онлайн-встреча.

Аркадий Ровнер не просто прозаик, автор трех романов, не просто поэт, автор нескольких сборников стихов, не только всю жизнь изучал духовные практики, наследие Штейнера, Гурджиева, Успенского, но и создал свою методику духовных практик, у него есть ученики по всему миру – как оказалось, и в Одессе.

Родился в Одессе. Эвакуация в 1941. Учился в Тбилиси. Затем философский факультет МГУ. Именно там и тогда, в шестидесятых, начал постигать и все мировые религии, и то, что может лежать вне традиционных религий. Наследие русских мистиков. Только не нужно думать, что это про гадание на кофейной гуще, вызывание духов и прочий спиритизм. Это про путь усовершенствования самого себя...

А одновременно писал стихи, рассказы. Круг общения – поэты Илья Бокштейн, Леонид Аронзон, прозаики Венедикт Ерофеев, Юрий Мамлеев...



Писатель Аркадий Ровнер

Антон прочитал нам один из рассказов отца. Автобиографический. Как впервые Аркадий Ровнер столкнулся с чудом.

Кстати. Отец писателя был религиозным евреем. Мать русская, православная. А ребенок, осознав, что есть Бог, не принял догматы ни одной религии.

Этот рассказ отца композитор Антон Ровнер предоставил для публикации в нашем альманахе.

В семидесятых Ровнер эмигрировал в США. Там учился в университете, а потом преподавал. Учил

духовным практикам. Издавал журнал «Гнозис». Но с началом перестройки вернулся в Россию.

И вновь – романы, рассказы, стихи, но главное – общение, желание просветить и просветлеть. Трижды был в Одессе.

На встрече присутствовал один из его учеников, Феликс Комаров, сказавший проникновенные слова об учителе.

В конце декабря 2019 года Аркадий Ровнер умер. А книги издаются, напечатано далеко не все. Ученики помнят и чтут.

Евгений Голубовский

Я хочу рассказать о чуде, которое пережил ребенком, то есть глубоко и бессознательно. Это было чудо спасения и кульминация жизни моих родителей. Высшие силы решили все за нас, и в отчаянную минуту нам были явлены милость и пощада. Страшно подумать, как сложились бы наши судьбы, не приди помощь сверху. Было нечто библейское во всей остановке и в обрисовке человеческих ролей в этом эпизоде. В минуту безнадежности нам – маме и мне с сестрой – отец явился спасителем и чудотворцем. И мы – его тройственная душа: мама, сестренка и я – в свою очередь были возвращены ему из ада.

Мой отец не воевал с немцами во Вторую мировую войну. В медицинском свидетельстве перед грозным и неумолимым заключением «годен» он вписал короткое спасительное словечко «не». Он прекрасно знал, чего ему может стоить эта каллиграфическая виньетка. Но перспектива убивать и умирать за чуждую ему власть была ему нелепей. Он не был воином и умер еще не старым от болезней и нервного износа.

Отец был религиозным человеком, в жизни своей никого не убившим и не предавшим. Естественно, он не хотел участвовать в общем блефе и даже притворяться не умел. Он прожил свою жизнь в расселинах советского каземата, не сдавшись и не уступив на ни йоту фальши «нормальной» жизни в царстве победившего люмпена, живя жизнью трудной и ненормальной. Уступили сестра и мама, не вынесшие аутсайдерства, и это у них происходила эрозия отцовского мира. Сестра стала учительницей модной в те годы науки физики, а мама – заядлой читательницей газет и азартной телезрительницей.

Отец работал директором санатория в Черновцах, когда началась война. Рано утром (разбудили самолеты) во двор вбежала соседка: война! Отец тотчас же бросился в санаторий, а мама начала упаковывать вещи.

В полдень приехал грузовик, полный узлов и чемоданов, и отец, закинув в кузов наши чемоданы, посадил маму и сестренку, потом поднял меня – годовалого наблюдателя мира взрослых. На руках у мамы кроме меня был алюминиевый чайник с кипяченой водой.

Мы уехали, а отец вернулся сдавать дела. Как финансово ответственное лицо он не мог поступить иначе. Оставшись без нас в опустелом санатории (сотрудников и отдыхающих как ветром сдуло) и позвонив в несколько мест (каким-то чудом телефон еще работал), отец очень быстро убедился, что сдавать дела некому. Тогда он бросился догонять нас на санаторской машине.

Так подробно, так досконально я знаю эту эвакуационную скитальческую стихию, эти шоссе и проселочные дороги, вереницы машин, телег и пеших с чемоданами, рюкзаками, корзинами, узлами, а было мне тогда лишь немногим больше года. Наверное,

не так уж бессмысленно я смотрел на мир, сидя у мамы на коленях и попивая кипяченую воду из носика чайника. Наше беженство длилось больше трех лет с остановками в городах и селениях по пути следования и новым скитальничеством по мере приближения фронта. Эти бесконечные переезды на машинах, в теплушках, на арбах, тракторах, пешком под снегом, в жару, под дождем, эти вокзалы и привалы, очереди за кипятком, продуктовые карточки, обмен вещей на продукты, страх, жажда, голод, эти воздушные тревоги, самолетные обстрелы беспомощных беженцев, раненые, старики, женщины, дети – оборванные, раздетые, изможденные, больные, умирающие, эти блохи, вши, клопы, оспа, тиф, малярия, дифтерия – все это до отказа наполнило мои детские годы, плотно вошло в меня и гулко переливается во мне по сегодня.

Выехав на шоссе, мы влились в поток машин, арб и пешеходов. Наш грузовик едва передвигался, останавливался каждые десять минут, попадая в бесконечные заторы, с трудом двигался дальше.

Первый воздушный обстрел был до того неожидан и стремителен, что никто не успел опомниться. Неслышно возникли самолеты и на бреющем полете полоснули по беженцам из пулеметов. Раздались истошные крики. Люди ринулись к обочинам, к кустам и оврагу справа. Залегли, ждали возвращения самолетов, но их и след простыл. Стали снова сползаться на шоссе, говорили о раненых и убитых. Через час суматоха улеглась и движение возобновилось.

Потом был второй обстрел. На этот раз, едва увидев приближающиеся в небе точки, еще не слыша гула, все побежали к обочине и залегли в канавы. Мама бежала со мной, сестрой и чайником. На этот раз самолеты обстреливали беженцев методично, возвращались опять и опять, стреляли по бегущим и по лежащим в канавах. Опять дико кричали, стонали, плакали и смеялись обезумевшие женщины, родные и близкие убитых. Обстрелы стали обычным делом и продолжались весь день, вечером и даже ночью. После одного из ночных обстрелов – уже на рассвете, – вернувшись на шоссе, мы не нашли нашего грузовика. Мы остались без вещей и продуктов, одни посреди степи ночью.

Вчера еще заливался пластиночный Утесов, и кавалеры вертелись в фокстроте вокруг санаторских див в завиточках а-ля Мэри

Пикфорд. Вчера еще разливалась ароматом сирень на веранде, где вечерами прогуливались солидные партийные товарищи и их легкомысленные курортные подружки. В ресторанах подавали венские шницели и голябки по-краковски, а торгсинский коньяк запивали отечественной хванчкарой и местными кислыми винами. И тело было телом, оно томилось и маялось, оно лелеяло тонкие недомогания и истому от избытка здоровья и сил. Ум услужливо выстраивал карточные домики и плел кружева интриг, рисовал честолобивые или пикантные картинки и не желал знать ни политики, ни классовых войн, ни слухов об опасности...

В конце двадцатых годов, когда отец мой ухаживал за мамой, еще казалось – особенно тем, кто был молод, – все образуется, жизнь войдет в колею, станет легче. Как-то выведав у маминой сестры, что маме нравится, он принес ей в дар пятьдесят граммов любительской колбасы. В другой раз он пришел к ней, когда никого не было дома, и бегал за ней вокруг большого стола посреди комнаты, а она от него убегала. Очевидно, в конце концов он ее все-таки нагнал.

Отец был переполнен житейской мудростью, знал великое множество поучительных историй, пословиц и поговорок. Мне, мальчику, он рассказывал вместо сказок библейские истории. Брата его чекисты расстреляли за неосторожно рассказанный анекдот. В доме об этом говорилось шепотом и никогда не упоминалось при посторонних. Две старшие сестры моей мамы вместе с их детьми погибли в немецком лагере смерти. В доме говорили: «Их сожгли в печи», – и я долго не мог понять, как двух дородных женщин и их детей могли засунуть в печку.

Наедине и шепотом отец рассказывал мне об Америке, Европе, Израиле, о мире, понятном ему, которого ему так не доставало. Он просиживал ночи перед коротковолновым приемником, ловя сквозь вой и скрежет глушилок «враждебные голоса» западных станций. Ему не удалось побывать на Западе – зато я хлебнул его сполна.

Мой побег из обезумевшей совдепии и мои эмигрантские скитания часто напоминают мне эвакуацию, какой я ее запомнил. С самолетов пока еще, слава Богу, не стреляют, но состояние по-

хожее, и люди ведут себя так же: безумеют, плачут и смеются. И та же незримая сила, когда нужно, протягивает им руку.

По мере того как светало, мама начинала осознавать наше истинное положение, и ужас стал постепенно прокрадываться ей в сердце. Это был ужас несамостоятельной женщины, которую всегда кто-то загораживал от жизни – сначала отец, потом муж, – и которая оказалась вдруг ночью на дороге одна с двумя детьми на руках.

Я вижу эту группку – оцепеневшую маму, сестренку, цепляющуюся за нее, себя и нелепый чайник на руках у мамы на обочине шоссе перед ржавым картофельным полем и с угрюмыми сараями за спиной (там мелькали подозрительные тени и оттуда временами доносились пьяные крики), я вижу эту внезапно обезлюдившую дорогу, слышу этот предутренний озноб и этот военный запах полыни, о котором поется в песне Андрея Зелинского.

Это был страшный час в нашей судьбе, и не вмешайся Провидение, не приди оно к нам на помощь – легко вообразить, что бы с нами случилось... Но Провидение вмешалась, и рука спасения была протянута.

Внезапно, как от толчка, мама встала и сделала шаг вперед со мной на руках и сестренкой рядом. В ту же минуту перед нами, взвизгнув, круто затормозил синий газик, открылась дверца, и из машины выбежал отец. Не говоря ни слова, он усадил нас на заднее сидение, сел рядом с шофером, взяв чайник к себе на колени, и машина поехала.

Понимал ли отец, что, собственно, произошло? Знал ли он, что привело его именно на это шоссе, одно из десятков, по которым ползли толпы беженцев? Думал ли он, чей расчет стоял за этой непостижимой встречей, или же ничего не заметил, приписав все себе, своей собственной ловкости и везучести? Догадывался ли он, что это была кульминация всей его жизни, пик красоты и силы, когда ему удалось спасти от неминуемой гибели жену и детей?

Под конец жизни, когда отец, забывающий имена и проезжающий свою троллейбусную остановку, безнадежный и потерянный, болел непонятной болезнью безучастности к жизни в последнем своем доме с террасой и садом, мама и сестра

поглядывали на него как на симулянта. Я же, поглощенный своими молодыми заботами, не находил для него времени.

Он часто приходит ко мне во сне. Первый раз он пришел вскоре после смерти. Я увидел его рядом, небритого и изможденного. Я так обрадовался ему, что мгновенно проснулся. И он, благодарный мне за мою непритворную радость, успокоенный, отошел.

Последнее время он появляется буднично и тихо. Он молча сидит на кухне, боясь обременить. Потом исчезает надолго. Где он живет, откуда приходит, чем занят – я как-то не успеваю его спросить. Он стал ненавязчивым спутником, необременительной частью меня самого. Я стал очень похож на него, каким я его помню.

Мы живем в своих детях, как наши отцы живут в нас. Я прожил жизнь моего отца, а теперь живу в сыне, в его разочарованиях и надеждах. Два слова – «эвакуация» и «эмиграция» – наполнили собой начало и середину моей жизни. Каким словом будет обозначено его окончание?

Нью-Йорк, 1992 г.

